

МАРИНА ЦВЕТАЕВА О ВАЛЕРИИ БРЮСОВЕ

Т. М. ГЕВОРКЯН

Имя Валерия Брюсова навсегда вписано в армянскую культуру. И связано это с антологией «Армянская поэзия с древнейших времен до наших дней», редактором, автором вступительного очерка, одним из переводчиков которой был Валерий Брюсов, взявший на себя к тому же большую организационную работу по привлечению лучших поэтических и переводческих сил России к решению этой не только творческой, но и нравственной, я бы сказала, нравственно-исторической задачи. Ибо задумывалась и создавалась эта книга в трагическое для армян время (1916 год) и сыграла двоякую, и двояко благородную, роль: во-первых, оказала неоценимую моральную поддержку истребляемому народу, во-вторых, открыла сокровища армянской поэзии современному культурному миру. Созданная в рекордно сжатые сроки, книга эта, многократно переизданная, и сегодня, по прошествии почти целого столетия, не утратила своего историко-литературного, научного, да и просто литературно-поэтического значения.

Сыграла она немаловажную роль и в судьбе самого Брюсова - недаром в московском Литературном музее, действующем ныне в доме, где когда-то жил Брюсов, в той комнате, которая воссоздает интерьер его рабочего кабинета, лежит на письменном столе раскрытая, красочно оформленная, мгновенно привлекающая внимание Антология армянской поэзии.

Армения же, присвоившая Брюсову звание «народного поэта», стала со временем общепризнанным центром брюсоведения. Начиная с 1962 года, в Ереване, в институте, носящем имя Брюсова, регулярно проводятся научные конференции - Брюсовские чтения, в которых принимают участие видные ученые, посвятившие себя изучению творческого наследия лидера русского символизма - поэта, переводчика, редактора, ученого, критика и литературоведа Валерия Яковлевича Брюсова. Материалы Брюсовских чтений издаются, они распространяются далеко за пределами Армении. На сегодняшний день выпущено уже одиннадцать солидных книг, а к 100-летию поэта была подготовлена и выпущена в свет «Библиография Брюсова. 1884-1973 гг.».

Тема «Брюсов и русская литература конца XIX - начала XX века» среди традиционных тем ереванских чтений. В материалах конференций с той или иной мерой полноты освещены уже контакты Брюсова с его современниками: К. Бальмонтом, Л. Андреевым, Вл. Ходасевичем, М. Волошиным, А. Н. Толстым, Ю. Балтрушайтисом, З. Гиппиус. Затронут уже и вопрос об отношении к Брюсову Марины Цветаевой. Затронут, но далеко еще не разработан. Так, в тени пока остается взгляд зрелой Цветаевой на Брюсова - поэта и человека, взгляд, легший в основу сравнительно недавно (1994 г.) опубликованного, наконец, в России очерка «Герой труда». Между тем слово Цветаевой о Брюсове заслуживает отдельного, пристального внимания: оно аналитично и лирично, спорно и непогрешимо правдиво, в нем критичность неотделима от «чувства ранга», а любовь и признание не вогнаны в прокрустово ложе прощального дифирамба. К тому же, как увидим, оно в чем-то главным созвучно отношению Армении к выдающемуся деятелю русской культуры.

«Вся моя проза - автобиографическая»¹, - слова эти Марина Цветаева сказала в январе 1940 года, то есть тогда, когда поток ее прозы уже иссяк, да и стихов суждено ей было написать за оставшиеся полтора года жизни совсем немного. Следовательно, слова итоговые, прощальные, дающие напоследок ключ к ее прозе всем, кто будет в эту прозу вчитываться *после* ее ухода, будет вчитываться уже без надежды на новую прямую подсказку, имея возможность общаться лишь с *наследием* поэта - миром неисчерпаемо богатым, но и беззащитным донельзя. Можно ли пренебречь таким ключом? Вместо не подлежащего сомнению ответа попробуем ключ этот применить - «отомкнуть» с его помощью прозу Цветаевой о Брюсове: она, полагаю, дает к тому особые основания.

Начать с того, что именно «Герой труда» первым назван Цветаевой в том списке прозаических произведений, которые по характеру и жанру разделены ею на просто «прозу», на «повести из детства», на «статьи» и «рассказы» и объединены общим для всех происхождением - автобиографичностью. Впрочем, «Герой труда» возглавляет этот список, скорее всего потому, что среди очерков о поэтах-современниках он был хронологически первым, как первой среди ее статей была очень ранняя (1910), почти еще детская рецензия на книгу Брюсова «Пути и перепутья»: так уж получилось *биографически*, что проза Цветаевой начиналась с Брюсова. Хотя «получилось», то есть произошло волею судьбы, это только с «Героем труда», написанным на смерть Брюсова. Рецензия же «Волшебство в стихах Брюсова», точнее время ее написания, - плод *цветаевской* воли, отражение ее неподдельно острого, пусть далеко не всегда восторженного внимания к лидеру русского символизма.

Что нам достоверно известно об отношениях Цветаевой с Брюсовым, об автобиографической - в прямом смысле слова - основе двух ее очерков о нем? Со слов Цветаевой мы знаем, что в юности, с 16 до 17 лет, она любила стихи Брюсова «страстной и краткой любовью» (IV, 12). При этом любовью не слепой, о чем свидетельствует к тому времени относящееся, 22 июля 1908 года датированное письмо к П. И. Юркевичу, где в пылко романтические строки о счастье, о чуде душевного горенья и сгоранья, безоглядной дерзости мыслей и чувств вклинивается мимолетное, по контрасту со всем уже сказанным пришедшее видение Брюсова: «Но... если не горенье нужно, а замерзание! Вот Брюсов, - забрался на гору, на самую вершину (по его мнению) творчества и, борясь с огнем в своей груди, медленно холодеет и обращается в мраморную статую. Разве замерзание не так же могуче и прекрасно, как сгорание?» (VII, 715).

Она не была еще тогда знакома с Брюсовым: и любовь к стихам, и прозорливый взгляд на Брюсова, поэта и человека, были заочными. Однако и то и другое имело продолжение - любовь к стихам Цветаева «озвучит» и подтвердит двумя годами позже в первой, неискушенным пером написанной, но по смыслу уже вполне цветаевской прозе «Волшебство в стихах Брюсова»; свой взгляд на человека и поэта не пересмотрит, по сути, никогда.

А в 1910 году она впервые встретилась с Брюсовым, столкнулась с ним случайно в книжном магазине и по следам этой встречи написала ему письмо, получила вежливый, малозначащий ответ, а к концу года отправила на отзыв авторитетному метру первый сборник своих стихов - «Вечерний альбом». Отзыв Брюсова, включенный им в хронику литературной жизни тех дней, был в целом справедливым, ему разве что не хватало чуткости и теплоты, подбадривающей интонации, которая была бы так уместна в отношении юной дебютантки. «Стихи Марины Цветаевой, - писал Брюсов, - всегда отправляются от какого-нибудь

¹ Марина Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах. М., 1995-1996, т. 5, с. 8. Далее в скобках указаны римской цифрой - том и арабской цифрой - страница этого издания.

реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую интимность. Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние... Мы будем... ждать, что поэт найдет в своей душе чувства более острые, чем те милые пустяки, которые занимают так много места в «Вечернем альбоме», и мысли более нужные, чем повторения старой истины: «надменность фарисея ненавистна». Несомненно талантливая, Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интимной жизни и может, при той легкости, с какой она, как кажется, пишет стихи, растратить все свое дарование на ненужные, хотя и изящные безделушки².

Цветаева была задета за живое, ничего лестного для себя в отзыве Брюсова не нашла и во вторую свою книгу («Волшебный фонарь», 1912 год) включила стихотворение, отвечающее на его критику:

**Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, -
Не изменишь, все равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.**

На «Волшебный фонарь» Брюсов откликнулся уничтожающе. В 1913 году Цветаева выпустила в свет свой третий сборник, который назывался «Из двух книг» и был, по существу, избранным из всего опубликованного ею ранее и, продолжая «дерзить», включила в него одно-единственное новое стихотворение, обращенное к Брюсову:

**Я забыла, что сердце в вас - только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти - критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом.**

Позже, в «Герое труда», Цветаева скажет, что главной для нее была последняя строчка, точнее, два последних слова. Не удивительно, однако, что Брюсов отнюдь не в них увидел смысл стихотворения и был чувствительно задет. В результате ли этой задетости или потому, что поэзия Цветаевой ему искренне не нравилась, он в 1919 году не допустил выхода в свет двух ее сборников - «Юношеские стихи» и «Версты»¹. Собственно, даже преградив им путь к читателю, можно было рукопись *купить* без последующей публикации (это часто практиковалось) и тем самым хоть немного поддержать Цветаеву, жившую в голодной послереволюционной Москве с двумя детьми. Он этого не сделал...

И в 1922, и в 1923 году Брюсов неприязненно отзывался о творчестве Цветаевой, неприязненно и свысока, не замечая, кажется, что она давно уже не та дерзкая гимназистка, которая обратилась к нему когда-то с неожиданным письмом, а вскоре вышла на публику со своими «жутко интимными» стихами, что она давно выросла в большого поэта, принадлежащего не одному только сегодняшнему дню русской литературы. Критика его делалась год от года все суровой и несправедливой; пожалуй, только на «Вечерний альбом» он откликнулся адекватно, хоть и не провидчески. Забегая вперед, скажем, что Цветаева, напротив, шла путем выверения и прояснения своего взгляда на Брюсова и в «Герое труда» (1925 год) создала один из самых реалистичных, психологически

² В. Я. Брюсов. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6, М., 1975, с. 365, 366.

достоверных портретов лидера русского символизма. И, может быть, залогом успеха была не в последнюю очередь автобиографическая основа ее очерка.

Какие, однако, еще автобиографические факты связаны у Цветаевой с Брюсовым? В предэмигрантские свои годы она не раз выступала на вечерах поэзии, организованных Брюсовым, победила в *анонимном* конкурсе на лучшее стихотворение на мотив пушкинской строки из «Пира во время чумы», в конкурсе, инициатором которого тоже был Брюсов, встречалась с ним в литературных кругах. Обо всем этом, допуская иногда неточности в деталях, написала Цветаева в «Герое труда»: рассказу о «достоверности встреч» и отношений с Брюсовым посвящена центральная, превышающая половину всего объема часть очерка. Подробнее и точнее об их знакомстве и взаимных выпадах можно узнать, например, из монографии А. Саакянц³.

Но есть и другой срез автобиографичности, не столь, быть может, явный и тем не менее определивший, по-видимому, главные черты созданного Цветаевой портрета Брюсова. Существующие источники не оставляют сомнения в том, что в самом начале своего пути - жизненного и творческого, то есть в то именно время, когда эмоции превалируют над разумом, а познание мира и людей происходит преимущественно интуитивно и, как часто оказывается впоследствии, безошибочно, Цветаева испытала, быть может, первое противоречивое, двуположное и - наперекор всему - цельное чувство к реальному, хоть и далеко отстоящему от нее человеку. И человеком этим был Брюсов, фигура которого неодолимо притягивала юную Цветаеву и одновременно отталкивала с силой, равной, пожалуй, силе притяжения. Но у этого *реального* чувства была своя предыстория. С нее и стоит, думаю, начать разговор о втором срезе автобиографичности цветаевской прозы о Брюсове.

В рассказе «Черт», вспоминая одно из самых мучительных, но и чарующих наваждений своего детства, Цветаева пишет: «С Чертом у меня была своя, прямая, отрожденная связь, прямой провод. Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: “Бог - Черт!” Бог - с безмолвным молниеносным неизменным добавлением - Черт... Между Богом и Чертом не было ни малейшей щели - чтобы ввести волю, ни малейшего отстояния, чтобы успеть ввести, как палец, сознание и этим предотвратить эту ужасную сращенность. Бог, из которого вылетал Черт, Черт, который врезался в “Бог”» (V, 43).

Эту «ужасную сращенность», никем и ничем не предотвращенную, но напротив, воочию, победительно явленную, в ее дни в русской литературе *осуществленную*, узнала, полагаю, Цветаева в Брюсове-поэте. Сначала поддалась, как в детстве, ее чарам - полюбила. А в 1925 году, уже после смерти Брюсова, так и не разлюбив, взялась публично осмыслить, с единственной, как она пишет, целью - «заставить *другей* задуматься» (IV, 20), то есть понять, с кем встретила в лице Брюсова русская поэзия, кому поклонилась. Но осмыслить, не поместив в общепозитический контекст, ничего не сказав о своем видении поэтического миротворчества, было бы невозможно. Вот почему очерк о Брюсове в отдельных, принципиально важных моментах предвосхищает более поздние статьи Цветаевой об искусстве. В частности, он напомнит о себе в главном эстетическом манифесте Цветаевой - в «Искусстве при свете совести».

Напомнит хотя бы уже тем, что «персонажи» «Искусства...» - Гёте и Пушкин - поставлены рядом с Брюсовым в «Герое труда». Поставлены в целях непогрешимости анализа: подлинные вершины мировой поэзии рядом с вершиной (тоже подлинной, но качественно иной) - Брюсовым. В чем их различие? В самом начале приведа слова Гёте о том, что «мастер сказывается прежде всего в

³ Анна Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1977.

ограничении», то есть в преодолении своей безмерности, всемогущества, Цветаева различие это со всею решимостью обозначает: «Брюсову нечего было преодолевать: он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе *границы* никому не дано» (IV, 13). Первая часть этого утверждения, разумеется, никак не затрагивает интеллектуальную сферу: она лежит в совершенно иной плоскости - эмоционально-творческой, и от нее один шаг (и Цветаева этот шаг совершает) до понимания того, что Брюсов *родился* не поэтом. Он им *стал*, ибо он «поэт - достоверно: в пределах воли человеческой - поэт» (IV, 13).

Однако в *этих* пределах поэзия может быть сколь угодно ритмически и метрически выверенной и изощренной, но не может, увы, быть *органичной*. Об этом - наряду со многим прочим - говорит одна брюсовская строфа, приведенная и прокомментированная Цветаевой:

**Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.**

«Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств... Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются!» (IV, 15) - восклицает далее Цветаева, в своей манере, изнутри уже обжитого ею мира поэзии восставая против брюсовской декларации о «сочетании слов» как цели творческого поиска. Любопытно, что совсем с других позиций - с позиций литературоведа и стиховеда - о том же самом сказал Л. Тимофеев, противопоставив к тому же всяческое новаторство, ритмическое и метрическое богатство стихов зрелой Цветаевой экспериментам Брюсова в области стихостроительства, в частности в его опытах «научной поэзии»⁴. Есть, думаю, все основания довериться мнению авторитетного ученого и признать прозорливость Цветаевой в отношении Брюсова: не отыскивание «сочетаний слов», а извлечение *созвучных смыслов* дело всей жизни *врожденно*го поэта.

Но коль скоро здесь Цветаева права, то не противоречит ли она себе, когда, справедливо отказывая в возможности преодолеть от рождения положенные границы, признает тем не менее, что поэтом можно *стать*? Полагаю, что по большому счету противоречия здесь нет, ибо оно нейтрализовано и снято оговоркой «в пределах воли человеческой - поэт». Снято, впрочем, только в порядке исключения. «Все наше отношение к искусству - исключение в пользу гения», - сказала однажды Цветаева (V, 353). С тем же, думаю, основанием можно было бы сказать, что все ее отношение к Брюсову - исключение в пользу воли. Можно было бы сказать по двум причинам: во-первых, потому что в случае Брюсова она столкнулась с «*чуждом* воли», во-вторых, потому что волевое начало было в ней самой очень развито. А о том, что Марина Цветаева - автор «Героя труда» - сделала для Брюсова единственное в своем роде исключение, свидетельствуют ее же слова из «Искусства при свете совести»: «Воля... без наития - в творчестве - просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты» (V, 348). Брюсова этот приговор обошел стороной. Почему?

В поисках ответа вернемся к детскому наваждению Цветаевой: «Бог - Черт». Случайно ли донеслось оно отдаленным эхом до мемуарно-аналитического очерка «Герой труда»? В чем дало себя почувствовать? Сказав, что Брюсов - поэт «не Божьей милостью», что он «стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, *творец творца в себе* (выделено мной. - Т. Г.)», Цветаева невольно, быть может, но вполне узнаваемо помянула кощунственную формулу

⁴ См.: Л. Тимофеев. Слово в стихе. М., 1987, с. 172.

своего младенчества. Ибо само по себе творчество есть максимально допустимое приближение человека к Богу, к акту Творения, восхотеть же большего - сотворить творца, - что это как не сатанинская гордыня, не подлог божественного начала, не богоборчество - одинокое и исполненное силы?

Вспомним: Черта своего младенчества Цветаева любила, и любви этой до конца осталась верна: иначе не написала бы о нем в 1935 году восхищенно и признательно: «Ты не сделал мне зла. Если ты, по Писанию, и «отец лжи», то меня ты научил - правде сущности и прямоте спины... Ты обогатил мое детство на всю тайну, на все испытание верности, и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя бы я не *знала*, что он - есть... Тебе я обязана... своим первым сознанием возвеличенности и избранности... Это ты оберег меня от всякой общности - вплоть до газетного сотрудничества... Бог не может о тебе низко думать - ты же когда-то был его любимым ангелом! И те, видящие тебя в виде мухи... - сами мухи, дальше носу *не* видящие... Догом тебя вижу, голубчик, то есть собачьим *богом*» (V, 54-56). Это почти финал рассказа.

Заверением в верности своему юношескому чувству заканчивается и одна из глав «Героя труда»: «И обращаясь к наиболее полярнейшему из солнц, мне полярному солнцу - Брюсову, вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как всякого другого поэта - Брюсов не в поэзии, а в воле к ней был явлен - то как всякую другую *силу*. И, окончательно вслушавшись, доказываю: Брюсова я под искренним видом ненависти просто любила, только в этом виде любви (оттолкнувении) сильнее, чем любила бы его в ее простейшем виде - притяжении... Если Брюсов это, с высот ли низкого своего римского неба, из глубин ли готической своей высокой преисподни слышит, я с меньшей болью буду слышать звук его имени» (IV, 51).

Закрывая в первом из процитированных фрагментов хвалу Черту своего детства словом «*бог*» (пусть «собачий», но все-таки Бог) и соединяя небо (пусть «низкое... римское», но все равно обитель богов) и преисподню во фрагменте, адресованном Брюсову, Цветаева в обоих случаях повторяет, по сути, формулу «ужасной сраченности», кощунственного, но неодолимо влекущего единства, которое явилось ей однажды в категориях нематериальных, а затем было узнано в реальном человеке. Достаточно вспомнить мемуары Владислава Ходасевича о Брюсове, близко ему знакомом, наблюдаемом на протяжении лет и в домашней, и в общественной, и в сугубо личной жизни, чтобы понять, что, не имея такой обширной базы «достоверностей», доверяясь во многом стихии интуитивной и по-особому автобиографичной, Цветаева тем не менее поразительно точна в этом своем, на первый взгляд, развенчивающем, а по истинному счету приподнятом, идеализирующем даже восприятию Брюсова.

Чтобы избежать голословности, покажем наиболее веские основания и для «первого взгляда», и для «большого счета». В самом начале главки «Поэт» Цветаева пишет: «Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений - антимузыкальность сущности, суть, отсутствие реки... Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался... вне лирического потока». И тут же добавляет: «Но, утверждаю, матерьялом его был гранит, а не картон» (IV, 13). Чуть ниже читаем: «Брюсов был римлянином. Только в таком подходе - разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп... Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на землю боги». И тут же, рядом, находим «поправку на величие»: «Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс» (IV, 13).

Обратим особое внимание на возникший «за спиной» Брюсова (опора? фон? сущностный символ?) Капитолий и заметим, что Капитолийский холм это

не только место поклонения римским богам, но и место заседаний сената (причем, в этом втором своем значении и назначении он гораздо более известен современному человеку), то есть некий престол верховной *земной* власти. Той самой власти, к которой в мире литературы своего времени Брюсов так стремился, которой он добился очень рано и веско; как скажет Цветаева, другим поэтам внимали, ими болели, к ним влеклись, других поэтов - «заслушивались», «Брюсова же - слушались». Человек редкостной эрудиции, талантливый организатор, прирожденный лидер, Брюсов не был властителем дум, он был вершителем судеб. На этом пути Капитолийский холм был им покорен достоверно: он достиг вершины власти.

Вспомним, однако, письмо юной Цветаевой к Юркевичу, где, в частности, говорилось: «Вот Брюсов, - забрался на гору, на самую вершину (по его мнению) творчества...», - и отметим некоторую двусмысленность, точнее двунаправленность, сказанного в скобках. Если отнести его к «вершине», то мнение Брюсова окажется неоспоримо верным, если же - к творчеству, то приоткроется трагедия заведомо ложной самооценки. Имела ли в виду Цветаева только второе? Случайно ли проговорила свою мысль амбивалентно? На эти вопросы спустя годы по-своему, непреднамеренно, разумеется, но очень концептуально, ответил обращенный и к земле, и к небу Капитолий - обитель богов и властителей Рима. А то, что Капитолий в образной системе «Героя труда» отнюдь не случаен, более того, определенно символичен, не может быть взято под сомнение хотя бы уже потому, что характер Брюсова - и творческий и человеческий - в очерке Цветаевой воспринят и раскрыт как характер римский: волевой, дисциплинированный, победительный, славо- и властолюбивый, *не* романтический, трезвый и даже заземленный, но во всех своих проявлениях значительный. Об этом последнем она говорит напрямую: «Одного порока у Брюсова не было: мелкости их. Все его пороки, с той же мелкости начиная, en grand (масштабны). В Риме, хочется верить, они были бы добродетелями» (IV, 20).

Для Цветаевой суть брюсовского образа в совокупности «римских» черт, а *совокупность* их восходит, по ее убеждению, к величию. Она была несказанно рада, когда прочла стихотворение Бориса Пастернака «Брюсову» и обнаружила, что они с Пастернаком единоклубны в главном - в понимании фигуры Брюсова, его значения в литературе начала XX века, совпавшего с началом их с Пастернаком творческого пути. Весной 1926 года Цветаева писала Пастернаку: «То, что ты написал о Брюсове - провидчески. Я как раз думала, посылать тебе или нет с Эренбургом, свою большую (прошлым летом) статью о нем (имеется в виду «Герой труда». - Т. Г.). - Ну вот, прочтешь. - Не хочу ничего говорить заранее». Прочтем и мы те пастернаковские строфы, в которых безошибочно уловила Цветаева созвучие своим мыслям о Брюсове:

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка - улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настезь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

⁵ РГАЛИ, фонд 1190, оп. № 3, ед. хр. 65, с. 16-17.

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили.

Не стоит, думаю, комментировать построчно этот горечью и восхищением помеченный панегирик Брюсову (стихи посвящены 50-летию юбилею метра, 1923 год) - он говорит сам за себя, как и за то, что Цветаева назвала «провидением» ее, еще не написанного к тому времени, очерка. Достаточно обратить внимание на волевые, гражданские, дисциплинирующие, интеллектуально-«учительские» черты этого поэтического портрета, чтобы понять, что не проговоренное слово «римлянин» разлито по всему пастернаковскому стиху. А «домовой у нас в домах» и «дьявол недетской дисциплины», «линейкой нас не умирать» учивший, корреспондирует, как мне кажется, напрямую с цветаевским Чертом, научившим ее «правде сущности и прямоте спины», «непреклонности» хребта (разве не могла бы она с полным основанием сказать то же самое о роли Брюсова в юные ее годы?), что лишний раз говорит в пользу нашего, быть может, рискованного, но психологически вполне обеспеченного сближения двух по-разному автобиографических произведений Цветаевой.

Вернемся, однако, к двояко символичному Капитолию. Что еще раскрывает Цветаева через этот образ в судьбе Брюсова? Поднявшись на вершину Капитолийской власти, Брюсов тем самым оказался на уровне *своих* богов (вплотную приблизился к «низкому римскому небу»), встал как бы вровень с ними - покровителями его поэзии. Это могло бы показаться индикатором творческого успеха, поэтической состоятельности и возвеличенности (так, по всей видимости, и казалось самому Брюсову), но в образно-ценностной системе Цветаевой это означает прямо противоположное. Достаточно свериться с «Искусством при свете совести», чтобы понять, что величие поэта соотнесено ею с высотой (недостигаемой и непостижимой) того божества, которое держит и ведет творческую судьбу человека искусства. В главе «Попытка иерархии» Цветаева предлагает свой поэтический ранжир: «Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт». Большой поэт характеризуется лишь масштабом поэтического дара, «для великого самого большого дара - мало, нужен *равноценный* (выделено мной. - Т. Г.) дар личности: ума, души, воли и устремление этого целого к определенной цели» (V, 359). «Для только-большого, - пишет далее Цветаева, - искусство всегда самоцель, то есть чистая функция, без которой он не живет и за которую не отвечает. Для великого и высокого - всегда средство. Он сам - средство в чьих-то руках, как, впрочем, и только-большой - в руках иных. Вся разница, кроме основной разницы рук, в степени осознанности поэтом этой своей держимости. Чем поэт духовно больше, то есть, чем руки, его держащие, выше, тем сильнее он эту свою держимость (служебность) сознает» (V, 359-360).

Хоть и сказано это много позже (1932 год), но к Брюсову и к цветаевскому очерку о нем имеет прямое касательство: недаром о небе поэта, о «поконивших с заоблачьем и осевших на землю богах» размышляла Цветаева в связи с Брюсовым в «Герое труда». Изначально невысокие руки, по убеждению Цветаевой, держали Брюсова-поэта. А он еще и снизил их (приблизил к себе) своим восхождением на двуликий Капитолий, совсем не оставив дистанции, чтобы ощутить и осознать свою «держимость, служебность». Напротив того, он за-

хотел и в определенных пределах смог утвердить державность *своих* рук, сделав в поэзии отпущенного ему времени совсем иную - не цветаевскую и отнюдь не теоретическую - попытку иерархии. Могла ли эта попытка вознести его к подлинному (в том числе и поэтическому) величию? На этот вопрос, предвосхищая свой более поздний эстетический манифест и далеко выходя за пределы частного (брюсовского) случая, Цветаева ответила в «Герое труда» одной из незабываемых своих формул: «Единственная возможность на земле величия - дать чувство высоты над собственной головой» (IV, 15). То есть делом своим напомнить о чем-то высшем. Брюсов это чувство не только не дал другим, он у себя самого его отнял - покоренный Капитолий оказался в некотором роде ловушкой.

Но коль скоро мы затронули цветаевскую иерархию поэтов, попробуем понять, к какому из трех ее разрядов мог бы быть отнесен Брюсов: «поэт - достоверно: в пределах воли человеческой - поэт». Подобно *великим* поэтам, Брюсов был наделен могучим даром личности: «ума, души, воли» и устремленности «этого целого к определенной цели». Но *равноценным* поэтическим даром (первой и главной составляющей творческого величия) он был обойден. Цветаева отказывает ему даже в просто большом даре, которого - одного, без личностной поддержки - хватает, чтобы быть большим поэтом. В случае Брюсова, думается, личностный состав, приходя на помощь недостающему поэтическому дару, лепит фигуру *большого* поэта. И так, большой поэт. С двумя разнонаправленными и уравновешивающими друг друга отклонениями от эталона: великим личностным даром и определенно недоданным поэтическим. Своего рода уникам в мире искусства, тем более - в мире *русского* искусства, и неслучайно, но с полным пониманием неповторимости, демоничности, неподсудности брюсовского феномена делает для него исключение наделенная *равноценным* личностным и поэтическим даром Марина Цветаева.

Но можно ли без примеси иронии назвать большого поэта Героем труда? И не между прочим обронить эти слова, а вынести их в заглавие посмертного мемуарного очерка? Вспомним, что вослед Андрею Белому Цветаева сказала, как выдохнула: «Пленный дух». Свои воспоминания о только что ушедшем Максимилиане Волошине назвала «Живое о живом». Единственную встречу свою с Михаилом Кузминым запомнила и увековечила как «Нездешний вечер». А о Брюсове сказала почти протокольно и уж во всяком случае непозитично - «Герой труда». Сам собой напрашивающийся вывод будет, однако, преждевременным и поверхностным, если не обратиться снова к автобиографическим истокам, к особому, по-особому родственно-родному значению, которое вкладывала в это привычное (а для нас еще и привычно-советское) словосочетание Марина Цветаева.

В 1926 году в Ответе на анкету она писала: «Отец - сын священника Владимирской губернии, европейский филолог... доктор Болонского университета, профессор истории искусств сначала в Киевском, затем в Московском университетах, директор Румянцевского музея, основатель, вдохновитель и единоличный собиратель первого в России музея изящных искусств... Герой труда» (IV, 621) Уважение и гордость звучат в этой анкетной записи, и хотя относится она к деятельности ученого, которому сам Бог велел трудом своим - многолетним и неотступным - добиваться желанного результата, в нее заложена причастность самой Цветаевой к духу трудолюбия и целеустремленности, ибо то был дух родительского дома, впитанный с детства и ставший частью души. О чем она и говорит напрямую чуть ниже, коснувшись ранних влияний, сформировавших ее: «Главенствующее влияние - матери (музыка, природа, стихи,... Heroica). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность)».

Обратим внимание на даты: летом 1925 года Цветаева писала о Брюсове, в начале следующего 1926 года применила найденную формулу к своему отцу - профессору Ивану Цветаеву, а через него - пусть пока неявно - и к себе самой. Здесь что-то сошлось, соединилось и закрепилось надолго. Ибо много позже, в одном из писем февраля 1931 года, делясь смятенностью своих чувств с Р.Н. Ломоносовой, Цветаева скажет: «Живу. Последняя ставка на человека. Но остается работа и дети и пушкинское: «На свете счастья нет, но есть покой и *воля*», которую Пушкин употребил как: «свобода», я же: воля к чему-нибудь: к той же работе. Словом, советское «Герой ТРУДА». У меня это в крови: и отец и мать были такими же. Долг - труд - ответственность - ничего для себя - и все это *врожденное*, за тридевять земель от всяких революционных догматов...» (VII, 330).

Выделенное Цветаевой в этом фрагменте письма слово - ключевое и существенное: для нее всегда важны были врожденные, богоданные свойства человека, и развитие она понимала не как расширение (количественное) жизненного опыта и сфер его приложения, а как осмысление, сохранение и претворение изначально данного, судьбой посеянного и судьбу определяющего. Ранние годы жизни отводила на самоузнавание, соотнесение себя с миром внешним, последующие - на «саморазработку» и в 1940 году, то есть на самом исходе своих дней, сочла нужным сказать об этом напрямую: «Все, что любила,- любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока семи лет от роду скажу, что все, что мне суждено было узнать, - узнала до семи лет, а все последующие сорок - осознала» (V, 6). В своих родителях, в себе и в Брюсове она очень рано узнала и полюбила эту драгоценную врожденную черту - страсть к труду, дающую самые разные, но всегда насущные и естественные, каждому данному человеку предначертанные всходы. И в каком-то смысле ценой волевого и трудового усилия купленная репутация Брюсова-поэта приобретала в ее глазах значимость подлинную, ибо была обеспечена врожденной (хоть и не поэтической) страстью, а не вожделем честолюбца или прихотью сибарита.

Но до конца отношения Брюсова с музой поняла Цветаева, пожалуй, еще позже - летом 1931 года. Именно тогда, оглядываясь на пройденный в поэзии и *не* пройденный в литературной жизни путь, осмысляя сложившееся к сорока годам душевно-творческое свое состояние, она в черновой тетради сделала большую запись, озаглавленную «Моя судьба - как поэта». О сегодняшнем своем дне (а конец 20-х и 30-е годы были помечены расцветом цветаевской прозы и резким убыванием лирического потока) Цветаева со всею открытостью, прямо-таки исповедальностью сказала: «Не знаю, сколько мне еще осталось жить, не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать *сильно*, что слабых стихов - не дам. Но знаю еще, что по сравнению с - хотя бы еще чешской захлестнутостью лирикой (1922 г. - 1925 г.) я иссохла, иссякла, - нищая. Но иссыхание, иссякновение - душевное, а не стихотворное. Глубинно-творческое, а не тетрадное... Господи, дай мне до последнего вздоха пребыть ГЕРОЕМ ТРУДА»⁶.

Вспомним, что именно в период «чешской захлестнутости лирикой» написала Цветаева очерк о Брюсове, именно тогда сказала, что сущность Брюсова антимзыкальна, что борется он с «сушью», отсутствием в себе лирического тока, и назвала этого титанического сильного человека Героем труда, а не бросила в него камень презрения с высот лирического своего зенита. И, может быть, тем самым заслужила право, испытав на себе шестью годами позже нечто подобное, испросить для себя у Бога той же силы, которую поняла и уважила когда-то в Брюсове: «Дай мне... пребыть Героем труда». Случайно ли помянула

⁶ Марина Цветаева. Сводные тетради. М., 1997, с. 438.

Цветаева в «Моей судьбе...» 1925 год и Чехию, связанную для нее с какими угодно страстями и испытаниями, но только не с иссушенностью души? Не смерть ли Брюсова - одинокого гордеца и самоборца - вспомнила, заговорив о далеком или близком, но болезненно ощутимом уже своем конце? Ответить сколько-нибудь определенно на эти вопросы, разумеется, невозможно. Но то, что тень Брюсова витает над всей, столь важной для Цветаевой записью о путях ее собственной литературно-творческой судьбы, кажется почти очевидным, лишней раз удостоверенным заключительными словами, которые с годами стали для Цветаевой чем-то знаковым, от нее самой неотделимым.

Будем, однако, точны и заметим принципиальную разницу между лирическим спадом, переживаемым Цветаевой в означенный период, и изначальной «сущью» брюсовского стихотворства. Она переживала трагедию утраты и, ища путей восполнения, трезво оценивала ее характер и масштаб, Брюсов обретал имя и положение в несвойственной ему сфере и переживал трагедию иноверца, ставшего во главе правоверного воинства. Он покорял чуждую ему стихию трудовой и волевой своей страстью, данной ему изначалью - как бы взамен прочего; она не покорялась разлуке со стихией первородной и уповала на силу второй своей врожденной страсти. Разница, как видим настолько велика, что не оставляла бы места для какого-нибудь сближения и сопоставления, если бы одна из врожденных страстей не была бы у них общей и если бы в какой-то момент два таких разных поэта не совпали бы в точке ее приложения.

Не нам судить, кому из них выпал более тяжкий жребий. Так или иначе, героичность есть в каждой из этих - таких разных, по слову Цветаевой, «наиполярнейших» - судеб. Кстати, полярность эта проявилась еще и в том, что Брюсова на всем его пути сопровождало широкое литературно-общественное признание, Цветаева же была оценена немногими избранными и положения, отвечающего хоть отдаленно ее поэтической мощи, так и не сподобилась при жизни ни в России, ни в кругах русского зарубежья. Вряд ли ей было это совсем безразлично и в 1925, скажем, году. Но в 1931-ом она уже определенно тяготилась своим положением парии и чужестранки, непризнанной и неоцененной в родном мире русской поэзии. И в «Моей судьбе...» писала об этом с нескрываемой горечью, доискивалась причин, находила их в «собственной особости», в «несвоевременности» своего «явления», но утешиться по-настоящему не могла, тем более что одиночество внешнее, литературно-общественное, усугубилось в эти именно годы одиночество переживаемой трагедией «душевного иссякновения».

И коль скоро в этот кризисный момент Цветаева снова повернулась мыслью своей к Брюсову, вернемся и мы к ее очерку о нем, к той, в особенности, части очерка, где говорится об одиночестве всеми признанного метра. «Судьба и сущность Брюсова, - писала она в «Герое труда», - трагичны. Трагедия одиночества? Творима всеми поэтами.

...И всю свою жизнь они так одиноки...

(Рильке о поэтах)

Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти между тобой и всем живым, роковое пожелание быть при жизни - памятником. Трагедия гордеца с тем грустным удовлетворением, что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятник при жизни он всю жизнь напролом боролся: не долюбить, не передать, не снизойти... И вот, в 1922 г. пустой пьедестал, окруженный свистопляской ничевоков, никудаыков, наплеваков. Лучшие - отпали, отварились. Подонки, к которым он тщетно клонился, непогрешимым инстинктом низости чуя - величие, оплевывали («не наш! хорош!»). Брюсов был один. Не один *над* (мечта честолюбца), один - *вне*» (IV, 18).

От Цветаевой ушла лирическая переполненность, всемогущество, от Брюсова - земное самовластие. У каждого из них еще при жизни было отнято самое глав-

ное. Полюса Брюсова и Цветаевой неожиданно сошлись: трагедия брюсовского конца тоже оказалась для Цветаевой автобиографичной. Чем может быть компенсирована прижизненная трагедия великого человека? Пожалуй, только соизмеримым и соприродным его личности воздаянием потомков. В своем случае Цветаева хотела посмертного признания, знала всегда и не усомнилась до конца, что стихам ее «настанет свой черед». Так и случилось. Чего хотела она для Брюсова? Памятника. Заслуженного и к тому же желанного памятника, причем не одного, а двух.

Первый из них, по мысли Цветаевой, был заслужен русским поэтом, обращенным к истории, к реалиям и легендам древнего Рима, Античного мира. Он был оправдан волей и статью римлянина, ожившей в Брюсове и покорившей отнюдь не самую подходящую для этого страну - стихийную, задушевно-песенную Россию. Это был памятник мечтанный, неосуществимый, но, тем не менее, Цветаева написала о нем в мемуарном своем очерке: «И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, покамест в Риме - хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его - не встанет - в чем, если не в мраморе? - изваяние:

СКИФСКОМУ РИМЛЯНИНУ
РИМ» (IV, 20-21).

Само это, жадной справедливости продиктованное пожелание Цветаевой есть своеобразный и единственно возможный памятник «скифскому римлянину» Брюсову. С другим памятником обстоит сложнее.

Известно, что Брюсов в Советской России не только остался, он служил новой власти преданно и разносторонне. Скажем хотя бы об одном направлении его посвященности - о педагогической деятельности. Как пишет С.В.Шервинский, «Октябрь открыл широкие возможности для осуществления брюсовской мечты. Сначала была создана студия при Лито Наркомпроса, потом был основан, по инициативе и плану Брюсова, Высший литературно-художественный институт, которому и было присвоено имя его создателя. В институте Брюсов проявил свой энтузиазм и способности педагога в полной мере. Его преподавание носило характер энциклопедический: он читал курсы истории литературы, латинского языка, даже математики, вел различные семинарские занятия, увлекал студентов всякими, искусно изобретенными упражнениями»⁷.

При всей уважительности тона в словах Шервинского сквозит желание дистанцироваться по возможности от своего предмета, сохранить объективность - и только. Ни одной теплой нотки, лишь добросовестная констатация фактов. Так звучит «умный» голос с советской стороны.

Со стороны же русской эмиграции послушаем голос Вл.Ходасевича, который считал, что стремление новой власти влиять на творческую сферу очень импонировало Брюсову и «он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность «направлять» литературу твердыми, административными мерами... А сколько заседаний, уставов, постановлений! А какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано: «в таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов». Тут личные интересы совпадали с идеями»⁸. Насколько «умным» был голос Ходасевича, говорить излишне - книга его воспоминаний «Некрополь» сохранила для потомков живое лицо целой литературной эпохи.

⁷ С. В. Шервинский. Валерий Брюсов. В кн.: Валерий Брюсов. Литературное наследие. Т. 85, М., 1976, с. 22.

⁸ В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Париж, 1976, с. 56.

В чем же, однако, солидарны два этих «умных» голоса, прозвучавшие в разное время, по разным поводам и - что немаловажно - с разных сторон баррикад? Они солидарны, на наш взгляд, в признании полезности послереволюционной деятельности Брюсова если не для литературы, как таковой, то для осуществления планов новой власти в области литературы и культуры, в совпадении идей Брюсова с идеями времени. А еще оба они не ставят под сомнение (в первом контексте, правда, такое сомнение было исключено а priori) искренность Брюсова в его служении большевикам.

Для Цветаевой Институт поэзии - nonsense, участие поэта в заседаниях, в выработке уставов и постановлений могло привидеться ей только в страшном сне, сам советский режим был отвергнут ею изначально и бесповоротно. Однако она не только согласна с Шервинским и Ходасевичем в том, что Брюсов был созвучен и полезен этой стране, но и идет дальше: Брюсов недооценен советской Россией, - считает Цветаева, - по *своим* заслугам недооценен. И во утверждение своего мнения заканчивает мемуарный очерк о Брюсове словами о втором памятнике, которому ничего не мешает быть осуществленным. «И не ускользнет мое несправедливое, но жаждающее справедливости сердце, пока в Москве, на самой видной ее площади, не встанет - в граните - в нечеловеческий рост - изваяние:

ГЕРОЮ ТРУДА
С.С.С.Р.» (IV, 63).

Интересно, как бы реагировало «жаждущее справедливости сердце» Марины Цветаевой на то, что в России ее воспоминания о Брюсове - по сути своей являющиеся памятником выдающемуся человеку, великой личности, герою воли и труда - смогли быть опубликованы лишь в 1994 году, спустя без малого семьдесят (!) лет после их написания? Да и только ли на это пришлось бы реагировать равнодушному сердцу Цветаевой? В 1931 году, побывав на вечере Игоря Северянина, она написала ему письмо, где, в частности, говорилось: «Сонеты. Я не критик и нынче - меньше, чем всегда. Прекрасен Лермонтов - из-под крыла, прекрасен Брюсов - «всю жизнь мечтавший о себе, чугуном» - прекрасен Есенин - «благоговейный хулиган...»⁹. Но, когда впервые на родине в 1988 году было напечатано это письмо, в нем был сделан цензурный пропуск, на том именно месте, где приведены слова Северянина о Брюсове. Получилось так: «Прекрасен Лермонтов - из-под крыла, прекрасен Брюсов... прекрасен Есенин - «благоговейный хулиган»¹⁰. Чем, по мнению Цветаевой, прекрасен северянинский Брюсов, отечественному читателю довелось узнать еще девять лет спустя.

Чем объясняется такая то ли щепетильность, то ли бдительность советской цензуры в отношении брюсовского честолюбия и любых упоминаний о памятнике ему в Москве ли, или в его собственной мечте, сказать трудно. Можно только предположить, что «памятник» в любом его виде не соответствовал творимому в советское время образу Брюсова. Настолько не соответствовал, что никакого вообще памятника ему в Москве не поставили (напрасны были призывы Цветаевой не только к далекому Риму, но и к революционной России). Вероятно, считали, что был недостаточно «своим», что не заслужил такой чести, несмотря на то, что «русская и советская культура имеют основания чтить память Валерия Брюсова за многое, в том числе за обновление поэзии, переживавшей в конце XIX в. упадок, за поднятие ее профессионального мастерства, за критическую трезвость и вкус, за неизмеримое богатство знаний, за щедрость в про-

⁹ Марина Цветаева. Сводные тетради. М., 1997, с. 435.

¹⁰ Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. М., 1988, т. с. 522.

«вещений молодежи, за то, наконец, что он встал одним из маяков для выходящей в широкое море советской культуры»¹¹.

Неисповедимы пути славы, непредсказуемо идейное и содержательное исполнение посмертного воздаяния. Цветаева сказала о Брюсове - герой, и подняла его на пьедестал своей мемуарно-аналитической прозы. Россия сказала о нем - поэт-реформатор, ученый-эрудит, блестящий организатор и педагог, и выстроила на книжных полках малочитаемые тома его стихов и прозы. Рим, естественно, промолчал.

И тут стоит вернуться к началу нашей статьи. Ибо Армения, подобно Цветаевой, признала в Брюсове героя, своего героя. Она не забыла благородный труд ученого, переводчика, редактора, создателя антологии «Армянская поэзия». И не только посвятила много сил изучению наследия Брюсова, но и поставила ему памятник в Ереване - перед центральным входом в институт (ныне лингвистический университет) им. Брюсова. Хочется думать, что этот единственный в своем роде, никак нечаемый Цветаевой памятник успокоил бы ее «жаждущее справедливости сердце».

Տ. Մ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ - Մարինա Յվետևան Վալերի Բրյուսովի մասին. - Հոդվածում քննության է առնվում Յվետևանյի արձակը՝ նվիրված ռուսական սինվոլիզմի առաջնորդ Վալերի Բրյուսովին: Նշվում է այդ արձակի տարատեսակ ինքնակենսագրական բնույթը, որը լրացուցիչ զգայական-հոգեբանական երանգ է հաղորդում Յվետևանյի կերտած գրական դիմանկարին:

¹¹ С. В. Шервинский, там же, с. 22.